

ВЛАДИМИР ОДНОРАЛОВ



СЕДЬМОЙ ЗАЯЦ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Это очень давно случилось, в середине XX века. Мы жили тогда в собственном доме, в Форштадте. У нас две печки было: одна на кухне, от неё ещё и баня топилась, а вторая светёлку отапливала. Мебели тогда у всех недоставало. Ну, такой, обычный был набор: посередке комнаты раздвижной стол на толстых ногах, в левом углу — никелированная полтораспальная кровать с подушками чуть не до потолка, под кружевным покрывалом и на колесиках. Справа... нет, не справа, а между восточных окон, конечно, трюмо с подставкой — ящички там для пудры “Премьера” и одеколона “Кармен”. Я почему-то считал эту Кармен узбекской героиней, похожа она была на одну мамину подругу из Ташкента. Далее. Правее этого трюмо, у южных окон, стоял буфет. Такое чудище: большая толстобёдрая тумбочка, а на ней — башенки из тусклого стекла. В общем-то, если бы эту штуку сделали с любовью, это было бы красивое мебельное сооружение. За буфетом, у западной стены — шкаф. Нынче это называется шифоньер. А тогда был шкаф, у нас — ещё и зеркальный! Открываешь дверку — а там зеркало, и смотришься: ты это или чужой кто в шкаф заглядывает. И были, конечно, стулья. Очень красивые, лёгкие стулья, называемые венскими. Сегодня они будто бы хороших денег стоят, а тогда у всех почти были: умели наши краснодеревщики венские стулья гнуть. Например, и мой дедушка умел! А ещё в этой светёлке было четыре окна. Два на восток и два на юг, между южными висела чёрная тарелка-репродуктор, которая однажды, передавая оперную музыку, загорелась сама собой...

Но я не об этом пожарном случае, а о том, что случилось точно на Рождество. Ну, может быть, за день до него, но никак не после, потому что после

---

*ОДНОРАЛОВ Владимир Иванович — прозаик, поэт, публицист, детский писатель. Автор книг “Окно в сад”, “За грибным царём”, “Свеча Господу”, “Светлячки” и др. Живёт в Оренбурге.*

Рождества не могло быть в доме такого покоя, который был тогда (шли бы и шли за гостями гости). Стол, который посередине был, отодвинули ближе к шкафу, а между ним и трюмо поставили ёлку. Ёлка пахла сильно, хвойно, незнакомым каким-то для нашего Форштадта счастьем, чистым и лёгким, какого вообще-то нигде не бывает, только в детстве, да и то не у всех.

А вообще-то у нас в доме всегда было очень чисто. И тепло было всегда. Чем только не топили печи! Углём, дровами, лузгой, корьём каким-то, брикетами, но всегда было тепло — и никто, никакой Чубайс этого тепла запретить не мог. Как, впрочем, и света. Свет у нас время от времени отключался по неисправности, и мы тогда зажигали большие белые свечи и керосиновую лампу.

И вот было в светёлке тепло, чисто, и как бы две ёлки стояло: одна у нас, а вторая — в зеркале трюмо, в какой-то другой, волшебной комнате, лишь похожей на нашу. Перед Рождеством бабушка подарила мне открытку в блестящих, светящуюся в темноте: Иванушка в красной шапке и в красных сапожках, в изумрудном кафтане, румяный и весёлый, летел в чёрном, глубоком небе на красно-буром Коньке-Горбунке с жемчужно-чёрными глазами. Оба они летели во тьме, но не в полной: был там и месяц, и звёзды, и они-то и светились. И я часто проползал к трюмо посмотреть на картинку: ее по общему совету прикрепили над зеркалом, а к трюмо вела ковровая дорожка-половик. Ворсистая, упругая, валяться на ней и по ней ползать было сплошным удовольствием, тем более что ползти нужно было под столом и под ёлкой. А на ёлочке, кроме обычных на сегодняшний день шариков и других блестящих штучек, были ещё бабушкой позолоченные орехи, мандарины в серебряных верёвочках, конфеты просто в нарядных своих одежках. И эти драгоценности можно было потихоньку с ёлки снимать, поэтому бордовая дорожка к светящейся картинке была для меня очень завлекательной.

Это были очень тихие, предрождественские дни. Ещё и папы дома не было. Он служил тогда шофёром в какой-то конторе и, как он говорил, со всей конторой поехал на охоту. Шуршали за окнами бураны, укладывая голубые снега волну за волной, и ничто им не могло препятствовать — ни ворота наши, ни заборы. Мама, юная моя, с молодыми, мерцающими, как снежинки, глазами (всегда готовая рассмеяться всякой шутке), что-то загрустила. Снега валили и валили, мы с бабушкой пробивали тропы к сараю с топкой, к воротам, к скворечнику-туалету, а наутро эти тропы вновь заметались серебром сверкающим, невообразимо чистым снегом. А мама грустила. И понятно: папа был где-то в степи на своём брезентом крытом “виллисе” под всеми этими снегами. И вся надежда у мамы была на то, что победителей фашистов накануне Рождества Господь зиме не выдаст. Как-нибудь сохранит.

И под вечер, буранный и тёмный, когда я уже дремал, забарабанили в ставни, ворота загремели, послышалось фырканье “виллиса” и папин весёлый голос. Приехал! В дом заваливается в клубах пара, румяный, заснеженный, настоящий Дед Мороз. Полушубок снимает, шапку снимает, валенки снимает — и со всего снег сыплется. Сидит у печки на кухне, рядом двустволка со жгуче холодными стволами, довольный, руки отогревает.

— Ну, мать, чего я тебе привёз, ты и думать не мечтаешь, — говорит он, наконец, приносит из сеней мешок, и вытряхивает из этого окровавленного мешка гору убитых зайцев — семь штук! Семь громадных, каждый с меня ростом, русаков с мощными лапами, с громадными раскрытыми глазами, с застрявшими в усах льдинками.

Конечно, и по сей день мне этих зайцев жалко. Они ведь были положительными героями всех наших мультфильмов! А я впервые видел застреленных наших, степных зайцев. Ушастых, с трогательными, в форме сердца хвостами... и у каждого была рана. Кровь на шкуре означала смерть. Юная моя мама и молодой, невредимым вернувшийся с войны папа радовались им как добыче. Жили мы, как все, трудно, и семь заячьих тушек означали сытые зимние праздники, да и шкурки были в цене... Ну, а я к зайцам, конечно, несильно иначе относился. Они же были с меня ростом, с громадными изумлёнными глазами: “Как же, мол, так? Были живы — и на тебе!” Мне представлялось, что выстрел настигал их в прыжке, в полёте, потому и застыли они летящими.

Мама с папой и с бабушкой начали разделывать первого зайца. Мне дали заячий хвост для каких-нибудь игр, но не нужен мне был этот хвост. С тем, что явно убитых зайцев сейчас разделают, я смирился, но я нашёл среди этих семи одного без раны. На нём вообще не было даже следов крови! Он был цел! У него не было смертельной раны. И его длинные задние, крепкие передние лапы, прекрасная холодная шерсть, ладные, не такие уж и длинные уши, выпуклые, спокойные и глубокие глаза... И они говорили, что это обморочный заяц. Это слово “обморочный” — я сам придумал. Я однажды был в обмороке. Меня друг мой Атайка в игре шарахнул “по кумполу” горбылём, и я упал на некоторое время в обморок, хотя и был совершенно целым. Как этот седьмой заяц.

А зайцев между тем разделывали. Их, простите, потрошили, снимали с них шкуру и тому подобное. И какой был бы ужас, если бы мой заяц очнулся вдруг выпотрошенным и без шкуры. А я всё больше уверялся, что седьмой заяц жив. Но — в обмороке. Ведь нет у него раны. И крови на нём нигде нет. Не зная многого, я знал, что если скажу сейчас об этом маме и папе — мол, живой это, оглушённый только заяц, они рассеются, назовут меня глупышкой и найдут — и рану, и невидимую поверх шерсти кровь...

И я не стал, не стал говорить своим счастливым родителям ничего. Я взял обморочного зайца за уши (до сих пор помню нежную шёрстку и холодную плоть его ушей) и тихонько, ползком, уволок его в светёлку. Мама, папа и бабана там чего-то смеялись, а я уволок его и спрятал. Надёжно. Под столом и под ковровой дорожкой. Ведь ему нужно было тепло, чтобы оттаять и очнуться. А уж очнувшегося его ни убивать снова, ни потрошить не будут. Мы с ним почти в обнимку уснули. Он под ковровой дорожкой, а я сверху. И он ожил! И оказался громадным, как небольшая лошадка, зайцем. Он глянул на меня выпуклыми, горячими теперь глазами, я сел на него, как на Конька-Горбунка, и мы сквозь зеркало помчались в звёздное небо, в то самое, в котором летел и Иванушка на своём Коньке. Я даже землю увидел — маленькую; туманный такой голубой клубочек... Но я понимал, что она издала такая, а вообще-то достаточно большая, и дух захватывало...

Утром я, конечно, оказался на месте, в своей постели, на топчане за печкой (самое уютное в доме место!). Зайца под ковровой дорожкой не было. В холодных сенях на большом столе лежали шесть заячьих тушек, а под столом — шесть посыпанных солью шкурок. Седьмого зайца то есть не было! Он ожил и убежал! Как? Ну, как, например, наш кот умеет проникать в закрытый дом и уходить из него. Да и двери мы тогда иногда и не запирали, когда были все дома. Да и папа спросил у меня:

— Сынок, а ты помнишь, сколько было зайцев? Семь или шесть? Я вроде бы помню, что семь, а мама говорит — шесть...

И до сих пор, став уже дедушкой и бабушкой, они спорят, вспоминая то Рождество, сколько было зайцев: шесть или семь? А правду знаю только я. В ту ночь мы с моим седьмым зайцем расстались где-то возле луны.

*г. Оренбург*